АЛЕКСАНДР ЛАДОГИН

ПАРЕНЬ ИЗ САДА

КНИГА VI

ВОЗВРАЩЕНО ОТПРАВИТЕЛЮ



Александр Ладогин

Возвращено отправителю

«Автор»
2026

Ладогин А.

Возвращено отправителю / А. Ладогин — «Автор», 2026

1954 год. Страна меняется. Но прошлое не собирается отпускать тех, кто надеялся его пережить.Почти десять лет Андрей Коржев живёт под чужим именем. Когда-то он был Арсением Ершовым, студентом из XXI века, неожиданно оказавшимся в военном 1944-м. Теперь он работает в аппарате ЦК, знает слишком много о будущем и старается не думать о том, кому на самом деле принадлежит его биография.Но кто-то начинает собирать доказательства. Старые архивные дела, поддельные записи, анонимные письма. Неизвестный противник знает то, чего знать не должен. И самое опасное — он использует правду.Тем временем страна бросает тысячи людей на освоение целины. На бумаге всё готово. В действительности каждое решение может обернуться чужой судьбой.Что страшнее: потерять имя, под которым прожил десять лет, или однажды понять, что ради его сохранения придётся предать самого себя?Шестая книга цикла «Парень из сада».

© Ладогин А., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава первая. Звезда без луча 5
Глава вторая. С четвёртого 13
Конец ознакомительного фрагмента. 20

Возвращено отправителю

Глава первая. Звезда без луча



I

Москва. 31 декабря 1953 года, четверг.

Ёлку Анна Фёдоровна принесла с рынка накануне вечером и всё утро не могла ей простить.

— Продавец божился, что она круглая, – жаловалась она, поворачивая ведро на полу. – Круглая, говорит, хозяйка, со всех сторон одинаковая. А у неё одна сторона лысая, как наш управдом.

— Поставьте её плешью к стене, – предложил Андрей.

— Без вас бы не догадалась.

Она повернула ведро ещё раз, отступила к двери, прищурилась и вернулась. Ёлка стояла кривовато и старательно делала вид, что с другой стороны у неё всё в порядке. Андрей подложил под ведро сложенную вчетверо газету. Газета была от двадцать четвёртого числа, и, прежде чем сунуть её под жесть, он невольно задержался на первой полосе. Сообщение о приговоре занимало полполосы, а под ним, в подвале, шла сводка о надоях. Человек, который девять лет назад угощал его виноградом на Малой Никитской и называл «студентом», теперь помещался в столбец казённого текста. Андрей знал эту дату задолго до того, как её напечатали. Знание не принесло ни облегчения, ни торжества. Он сложил газету ещё раз и подсунул под ведро. Ёлка выпрямилась.

— Вот, – одобрила Анна Фёдоровна. – Хоть какая-то польза от политики.

Из кладовки он принёс коробку из-под ботинок. Игрушки лежали в вате, переложенные газетными обрывками: стеклянные шары с облупившейся краской, серебряный огурец, ватный мальчик на санках, у которого давно отвалился один валенок, и картонная звезда. У звезды не хватало луча. На его месте торчал рваный край картона.

— Эту не берите, – сказала Анна Фёдоровна. – Совсем развалилась. Её ещё мой покойник покупал, в тридцать шестом.

— Подклеить можно.

— У вас, Андрей Сергеевич, всё чинится. Подпись, бумажка, звезда.

— Далеко не всё.

Она посмотрела на него внимательнее, чем требовал разговор о картонной звезде, но ничего не спросила. Принесла пузырёк с клеем и старую тетрадную обложку. Андрей сел за кухонный стол, вырезал из обложки недостающий луч, примерил, обрезал ещё раз. Луч получился чуть короче остальных и другого цвета: синий картон рядом с потускневшим золотым.

— Видно, что чужой, – заметила хозяйка.

— Зато держится.

— Это вы про звезду?

Андрей промолчал. Ножницы он отложил аккуратно, лезвиями к себе, как учили когда-то в другой жизни, где ножницы были пластмассовыми, а у звезды на ёлке горели лампочки от сети.

Второй день он не ходил по коридорам с архивной папкой. Распоряжение Руднева лежало в ящике стола, под омской тетрадью, и Андрей не перечитывал его: помнил наизусть. С двадцать девятого декабря он отстранён от ведения проверки по архивному делу и от поручений по переселенцам. Работа в группе по участкам сохраняется. В понедельник он сам потребовал, чтобы дело зарегистрировали. Во вторник обнаружил, что настоять на правильном решении и жить с его последствиями – разные занятия. Первое заняло десять минут. Второе, судя по всему, растянется на месяцы.

Конверт с полоской, которую Анна Фёдоровна отпарила над чайником, лежал в портфеле. Его следовало отдать Белкину под опись сегодня же утром. Адрес с конверта Андрей переписал в тетрадь и запретил себе думать о нём. Сивцев Вражек. Номер дома под фиолетовым пятном. Запрет держался плохо.

— Вы сегодня до которого часа служите? – спросила Анна Фёдоровна.

— До обеда, если не задержат.

— Сегодня всех держат до вечера, – уверенно сказала она. – Чтобы в новом году было что вспомнить. А к ночи придёт Клавдия Петровна с девочкой. Пирог обещала. Вы будете?

— Буду.

— Это обещание или как в прошлый раз?

— Твёрдое.

— Тогда запишу, – сказала Анна Фёдоровна и действительно записала что-то карандашом на обороте квитанции за свет.

II

Москва. 31 декабря 1953 года, четверг.

Пропуск у него забрали у дверей архивного корпуса.

Андрей пришёл туда по старой привычке: в хранилище остались его рабочие тетради по участкам, и он хотел забрать их до праздника. Вахтёр, пожилой человек с орденской планкой, знавший его в лицо с октября, взял книжечку пропуска, раскрыл, закрыл и не вернул. Из боковой двери вышел комендант корпуса, молодой и розовощёкий, с листком в руке.

— Товарищ Коржев? По распоряжению от двадцать девятого. Доступ в хранилище прекращён до особого указания. – Он прочитал это громко, на весь вестибюль, и только потом понизил голос: – Тетради ваши вынесут. Распишетесь в получении.

В вестибюле стояли трое из планового отдела, ждали лифта. Долгов, с которым Андрей ещё неделю назад спорил о нормах на перевозку леса, изучал доску приказов так внимательно, будто видел её впервые. Машинистка, сбегавшая по лестнице с пачкой копирки, на полушаге сбавила ход и прошла мимо, глядя в пол. Никто не сказал ни слова. Никому и не требовалось:

за три месяца Андрей узнал, что в этом здании новости передаются не голосом, а расстоянием, на котором от тебя встают в очереди.

Тетради ему вынесли через двадцать минут, перевязанные бечёвкой, вместе с бланком расписки. Андрей расписался. Комендант аккуратно промокнул подпись, сложил бланк и сказал «с наступающим» тем тоном, каким говорят «следующий».

В учреждении было людно и бестолково, как бывает в последний рабочий день года. В коридоре пахло мандаринами и мокрыми валенками. Кто-то нёс по лестнице связку еловых веток, кто-то спорил у машинописного бюро, успеют ли до обеда отпечатать годовой отчёт, если половина машинисток уже разглядывает в окно очередь у гастронома. В комнате группы по участкам Воронцова сидела над той же картой, что и вчера, и делала вид, что не замечает праздника.

Белкин нашёлся у себя. На столе перед ним лежали три стопки карточек и половина яблока.

— Я вам вчера звонил, – сказал Андрей.

— Меня искали все. – Белкин отложил карандаш. – Бухгалтерия, автобаза, архив и одна гражданка, которая перепутала нас с баней. Последний разговор был самым приятным. Что у вас?

Андрей положил на стол конверт. Белкин осмотрел его, не прикасаясь: прежний адрес отправителя, выцветшие чернила, номер в углу, полоска с надписью «Коржеву», отпаренная и вложенная внутрь. Потом надел нитяные перчатки, которые держал в ящике рядом с яблоками, и перевернул конверт.

— Клей свежий, бумага довоенная, – определил он. – Я это уже слышал от вас вчера вечером по телефону. Чего я не слышал: где он лежал со вторника по сегодня?

— У меня в портфеле.

— Плохо.

— Знаю.

— Уже лучше. – Белкин достал бланк. – Пишите, где, у кого, с какого часа. Без украшений. Вы теперь в этом деле не следователь, а свидетель. Свидетели, Андрей Сергеевич, украшений не пишут.

Андрей писал. Белкин тем временем вписывал конверт в опись: размер, цвет, состояние клапана, число вложений. Когда дошёл до адреса, остановился и посмотрел поверх очков.

— Вы туда ходили?

— Нет.

— Пойдёте?

Андрей не ответил. Белкин вздохнул и подвинул к нему опись для подписи.

— Я спросил не как ревизор. Как ревизор я бы спросил по-другому и записал ответ. – Он снял перчатки. – Курьера и его дочь Тарасов вызовет четвёртого. Не раньше. Я пытался объяснить, что праздники – самое удобное время для того, чтобы человеку кто-нибудь всё объяснил без нас. Тарасов ответил, что люди тоже имеют право на праздник. Возразить на это было нечего.

— Мой рапорт он видел?

— Ознакомился. Подшил.

Белкин поискал слово и выбрал самое скучное:

— Своевременно. – Он снял очки и протёр их краем пиджака. – Сегодня утром я звонил дочери курьера. Узнать, всё ли спокойно. Она сказала, что вчера вечером к отцу заходили поздравить с наступающим. Мужчина, вежливый, с мандаринами. Отец мандаринов не ест: у него от них сыпь. Кто заходил, она не знает. Отец говорит – сослуживец. Какой сослуживец, не говорит.

— До допроса четыре дня.

— И два из них выходные, – согласился Белкин. – Я об этом и говорил Тарасову. У меня такая профессия: сначала читаю расход, потом смотрю, куда девался приход.

Он положил конверт в серую папку с надписью «Входящие. Разное» и убрал её не в сейф, а на полку, к десятку таких же. Андрей хотел возразить и не стал. Права возражать у него больше не было, а Белкин знал, что делает: самое надёжное место для бумаги в учреждении – среди бумаг, которые никто не хочет читать.

На пороге Андрей обернулся.

— Семён Аркадьевич. С наступающим.

— И вас. – Белкин уже снова смотрел в карточки. – Постарайтесь в новом году не находить больше того, что мы успеваем зарегистрировать.

В комнате группы Андрея ждала телефонограмма из Кустаная. Местный инженер сообщал, что ремонт помещения для мастерской закончен, но отопление проверят только второго января. Под телефонограммой лежала записка Руднева: районное управление просит разрешить отправку машин немедленно, вагоны поданы, праздничный перерыв срывает график.

Руднев позвонил сам через десять минут.

— Видели?

— Да. Акта о проверке отопления нет.

— Будет второго.

— Тогда в тот же день и отправим. Машины в нетопленом сарае до весны не доживут, а людям, которые будут их чинить, там жить. Если вагоны уходят третьего, часть груза можно принять на станции, в крытом складе, до подтверждения. Я это ещё в понедельник предусмотрел.

В трубке помолчали.

— Вас отстранили от переселенцев, а не от тракторов, – произнёс наконец Руднев. – Это я, видимо, плохо сформулировал. Тракторы у вас остались целиком.

— Точнее не скажешь.

— Да. – Руднев вздохнул. – Ладно. Передам: до акта не отправлять. С праздником, Коржев.

— И вас, товарищ Руднев.

Андрей положил трубку и некоторое время сидел, не убирая руки. В последние месяцы у него появилась новая обязанность, которой не было ни в одном поручении: выдерживать паузу, когда от него ждали немедленного согласия. Пауза стоила дорого. Иногда она стоила вагонов, графиков и чужого раздражения. Зато потом её не приходилось оправдывать перед людьми, которым досталась бы поспешность.

Воронцова, не поднимая головы от карты, сказала:

— Если бы вас отстранили и от тракторов, я бы подала заявление. Мне одной с районным управлением не справиться.

— У вас бы получилось.

— Конечно, – согласилась Зоя. – Но без удовольствия.

III

Москва. 31 декабря 1953 года, четверг.

Бережной открыл не сразу. Сначала за дверью долго звякала цепочка, потом что-то упало, и полковник выругался вполголоса, но так, чтобы гость на лестнице понял: ругают предмет, а не его.

— Табуретка, – объяснил он, впуская Андрея. – Ставлю её у двери, чтобы не забыть, что надо починить ножку. Каждый раз забываю и каждый раз об неё спотыкаюсь. Получается, она своё дело делает.

На нём был домашний вязаный жилет, на кухонном столе стояла тарелка с пирожками. Бережной утверждал, что испёк их сам. Андрей не стал спорить, хотя пирожки были слишком ровными для человека, который не может починить табуретку.

— Соседка, – признался Бережной на втором пирожке. – Но тесто я месил. Под её руководством. Считается.

Они сидели на кухне. Лампа под потолком горела ровно: контакт, который полковник «улучшал» в декабре, на этот раз выдержал. Андрей рассказал о конверте, о Белкине, о вызове курьера на четвёртое. Бережной слушал, крутил в пальцах незажжённую папиросу.

— Ты хочешь спросить меня про адрес, – заговорил он наконец.

— Нет.

— Врёшь. Только не спрашиваешь, потому что тебе нельзя. Это правильно. – Бережной положил папиросу на край блюдца. – Я тебе скажу то, что могу, и ни слова больше. Сивцев Вражек я знаю как улицу. Кто там жил в тридцать восьмом, не знаю. Если вспомню, скажу Белкину. Не тебе.

— Ясно.

— Пока – нет, – беззлобно сказал Бережной. – И это тоже правильно.

Он подвинул тарелку ближе к гостю.

— Ешь. Я о старике хотел сказать. Ты ищешь в нём человека, который знал ответ. А я помню человека, который очень боялся ошибиться. Не из слабости. Он однажды уже решил за других слишком многое и потом всю жизнь это разгребал. Ты его письмо читал. Там не указания. Там просьба: не повтори.

— Он написал, что всё началось с его собственной ошибки.

— Да. – Бережной кивнул. – А с какой – не написал. Я тоже не знаю. Он был со мной честен ровно настолько, насколько мог себе позволить. Как и ты.

Андрей поднял глаза. Во взгляде Бережного не было упрёка.

— Лавров держит для меня имя, – сказал Андрей. – Человека, который был со стариком раньше. Я попросил подождать.

— Зачем?

— Боялся, что начну искать не то, что нужно.

— А сейчас?

— Меня отстранили, и искать мне нечего. Самое время.

Бережной коротко засмеялся – впервые за вечер.

— Вот это я понимаю – логика. – Он посерьёзнел. – Возьми имя. Сначала имя, потом решай, что с ним делать. Старик, между прочим, тоже сначала собирал сведения, а потом лез в драку. А не наоборот, как некоторые.

У двери полковник задержал его, придерживая табуретку ногой.

— С наступающим, Андрей. Постарайся хотя бы сегодня вечером не искать ни одного ответа.

— Попробую.

— Не обещай. Всё равно не выполнишь.

IV

Москва. 31 декабря 1953 года, четверг.

Клавдия Петровна пришла в десятом часу, румяная с мороза, с пирогом в полотенце и с дочерью Галей, девочкой лет восьми, которая с порога объявила, что не будет спать до утра, потому что в прошлом году заснула в одиннадцать и всё пропустила.

— Ничего ты не пропустила, – сказала мать. – Год пришёл без тебя и прекрасно обошёлся.

— Это нечестно, – сказала Галя.

С этим трудно было не согласиться.

Стол Анна Фёдоровна накрыла белой скатертью, которую доставала, по её словам, только на Новый год и на Первое мая. Винегрет, селёдка с луком, холодец, пирог Клавдии Петровны и бутылка кагора, купленная ещё в ноябре и спрятанная от самой себя за банки с вареньем. Радио в углу передавало концерт. Говорили о ценах, о морозе, о знакомой, которая наконец получила комнату в новом доме на Песчаной и теперь жалуется, что далеко ездить. Андрей отвечал, когда спрашивали, и не пытался перевести разговор на что-нибудь значительное. Он заметил, что прислушивается к шагам на лестнице – не принесут ли повестку, не постучат ли из учреждения, – и заставил себя перестать.

Галя долго изучала гостя, потом спросила:

— А вы правда ездили туда, где нет деревьев?

— Было дело.

— Совсем нет?

— Почти. Идёшь, а кругом одна степь, и видно далеко-далеко.

— Тогда там нельзя заблудиться, – рассудила Галя. – Всё же как на ладони.

— Можно. Видеть далеко – ещё не значит знать, куда идти.

Галя подумала.

— А как тогда находят дорогу?

— По приметам. И лучше с человеком, который её знает.

Клавдия Петровна велела дочери не приставать к гостю, но Андрей попросил не мешать. Он вдруг подумал, что на этом детском вопросе держалась вся его работа последних месяцев. В Москве многие видели карту целиком. Дорогу знали люди, которые ходили по ней каждый день: Жумабеков, механизаторы, бухгалтер Шевченко, у которого был один вопрос на все случаи – «кто построит?». Андрей мог бы сказать об этом Гале, но она уже переключилась на пирог.

Без четверти двенадцать в коридоре зазвонил телефон. Анна Фёдоровна, которая всё ещё относилась к аппарату с подозрением, сделала вид, что не слышит, и многозначительно посмотрела на Андрея.

— Вас. Кто ещё сюда звонит в такое время.

Звонила Павлова.

— Я ненадолго, – сказала она. Голос в трубке был усталый и тёплый, где-то рядом звенела посуда. – Мама просила передать, что вы так и не пришли пробовать её пирог, и поэтому в новом году она будет считать вас человеком ненадёжным.

— Скажите ей, что я исправлюсь.

— Хорошо. Она всё равно не поверит.

У неё за спиной звякнула крышка.

— С Новым годом, Андрей.

— И вас, Лиза.

Имя вышло само, и Андрей услышал, как в трубке на секунду стало тихо. Потом Павлова сказала обычным голосом, что у неё убегает чайник, и попрощалась. Андрей постоял у аппарата, слушая гудки, пока Анна Фёдоровна не крикнула из комнаты, что если он сейчас же не придёт, то год наступит без него, как у Гали.

Незадолго до полуночи хозяйка достала звезду с синим лучом и повесила её на верхушку, чуть выше остальных игрушек. Звезда держалась косо.

— Ничего, – сказала Анна Фёдоровна. – Пусть ещё один год послужит. Кто её знает, какой он будет.

Андрей взглянул на часы Лучко. Они снова отставали. Он не стал переводить стрелки, сверился со стенными и встал вместе со всеми, когда в радиоприёмнике забили куранты.

Желания он не загадал. По крайней мере такого, которое можно было бы уложить в один удар курантов. Хотелось, чтобы в Кустанае не замёрзли тракторы, а люди, которые будут их

чинить, жили в тёплых домах. Чтобы курьер и его дочь дожили до четвёртого января без гостей. Чтобы Бережной починил табуретку. Чтобы Анна Фёдоровна перестала прислушиваться к его ночным шагам. И чтобы женщина в другом времени, в другой Москве, на Ломоносовском проспекте, каким-то образом знала, что её сын жив и сыт. Желания были слишком разными, чтобы поместиться в одну торжественную минуту, и Андрей оставил их как есть – неразобранной стопкой, как бумаги без описи.

Галя протянула ему руку и серьёзно сказала: «С новым счастьем». Андрей пожал её маленькую ладонь и вдруг рассмеялся – не потому, что стало особенно весело, а потому, что впервые за долгое время почувствовал себя не свидетелем чужой эпохи, а человеком, который в ней живёт. В эту минуту, во всяком случае.

Галя заснула в половине первого на диване, не дождавшись утра. Ей ничего не сказали.

V

Москва. 1 января 1954 года, пятница.

Утром город был пустой и тихий, как будто его вымыли и ещё не успели заселить. Дворники сгребали к стенам ночной снег, на трамвайной остановке стоял один человек с авоськой, в которой звякали пустые бутылки. Андрей вышел пройтись. Так он сказал Анне Фёдоровне, и это было правдой: гулять распоряжение Руднева не запрещало.

До Арбата он дошёл пешком, свернул в переулки и только у Гоголевского бульвара признался себе, куда идёт.

Сивцев Вражек был узкий и кривой, как будто его прокладывали не по линейке, а по чьей-то давней обиде. Старые дома стояли плотно, одни с лепниной над окнами, другие совсем простые, оштукатуренные, с облупившимися карнизами. Андрей шёл медленно и смотрел на номера. Под фиолетовым пятном на конверте могла скрываться любая цифра. Под пятном могло скрываться и что-нибудь другое: исправление, вторая цифра, буква корпуса. Белкин сказал бы, что гадать по пятну – всё равно что гадать на кофейной гуще, только без кофе.

Он не входил во дворы и не заглядывал в окна. Просто шёл и считал. У одного дома, двухэтажного, с деревянными воротами, выкрашенными когда-то в зелёный цвет, остановился. На воротах висела жестяная табличка с номером, а рядом, под стеклом, пожелтевшая картонка, написанная от руки аккуратным старомодным почерком: «Ремонт часов. Вход со двора. Приём ежедневно, кроме воскресенья».

Сегодня был праздник, и на воротах висел замок, а под картонкой кто-то приписал карандашом: «С 4-го».

Андрей уже повернулся, чтобы уйти, и тут его остановила буква.

Заглавная «В» в слове «Вход» была выведена с петлёй внизу, с тем старательным росчерком, которому учили в гимназиях до революции и от которого к тридцатым годам отучили почти всех. Такую же «В» он видел позавчера вечером на кухне у Анны Фёдоровны, под отпаренной полоской. «Москва, Сивцев Вражек». Фиолетовые чернила, выцветшие до цвета слабого чая, и та же петля, и тот же наклон, чуть больше, чем требовали прописи.

Он подошёл ближе. Стекло на картонке запотело от его дыхания, он отступил и подождал, пока оно прояснится. Буква «р» с длинным хвостом. Мягкий знак, похожий на маленькую восьмёрку. Почерк не обязан быть единственным в Москве: в тридцатые годы гимназические прописи ещё помнили тысячи людей. Белкин сказал бы, что сходство двух букв – повод для лупы, а не для выводов. Но под этим сходством лежало другое, и от него Андрей не мог отмахнуться.

Седьмого июля он шёл здесь за Тимуром. У Арбатских ворот в ушах зазвенело так, что он перестал слышать собственные шаги: где-то впереди, в этих переулках, был старик. Андрей тогда развернулся и ушёл к метро, чтобы не сойтись с ним ближе пяти шагов. Назавтра Бережной рассказал ему, к кому старик ходил в тот вечер, и Андрей полгода думал, что в эти переулки его привела только та встреча.

За воротами было тихо. Над крышей флигеля во дворе торчала жестяная труба, из неё не шёл дым.

Тот, кто в тридцать восьмом году отправил пакет с этого адреса, мог давно уехать, умереть, сменить ремесло. А мог шестнадцать лет подряд выводить ту же петлю на картонках для заказчиков. И старик, который ничего не делал случайно, приходил сюда за три дня до своей смерти.

Андрей достал часы Лучко. Они отставали на четыре минуты, как отставали всегда. Он постоял у ворот ещё немного, потом отвернулся и пошёл к бульвару. Распоряжение запрещало ему вести проверку. Оно ничего не говорило о часах, которые отстают.

Мастерская открывалась четвёртого января.

Глава вторая. С четвёртого



I

Москва. 4 января 1954 года, понедельник.

Во дворе дома на Сивцевом Вражке стоял флигель в одно окно, приземистый, с крыльцом в три ступеньки. Ступеньки кто-то посыпал золой, и в утреннем полумраке они чернели на снегу, как строчка, которую забыли дописать. Замка на воротах не было. Над дверью флигеля горела лампочка в проволочной сетке.

Сивцев Вражек когда-то назывался по ручью Сивцу, который тёк здесь в овраге, во вражке, и давно ушёл под мостовую. Москва вообще любит хоронить свои речки под булыжником, а память о них оставлять в названиях: Неглинная, Сивцев Вражек, Самотёка. Улица от этого не стала прямее. Она так и петляет, как петлял ручей, и москвичи, которые никогда не видели Сивца, послушно петляют вслед за ним. Андрей подумал, что это, пожалуй, самый честный способ хранить прошлое: не памятником, а изгибом дороги, которую нельзя спрямить без того, чтобы снести полгорода.

Он пришёл в восемь, за час до начала службы. Объяснение для себя он приготовил ещё ночью и за дорогу успел его разлюбить: человек несёт в починку часы, которые отстают. Объяснение было правдой, и именно поэтому никуда не годилось.

Внутри тикало. Тикало со всех сторон, на разные голоса: сухо и часто – будильники на полке, глухо и с оттяжкой – стенные часы с гирями, а высокие напольные часы в углу молчали вовсе, и где-то за перегородкой что-то мелко стрекотало, как кузнечик в банке. Стрелки показывали кто во что горазд. Ходики над прилавком утверждали, что сейчас без десяти девять, будильник под ними настаивал на семи, а напольные часы, судя по всему, вообще давно отказались спорить.

— Это они не врут, – раздалось из-за перегородки. – Это они ждут хозяев. Каждый ждёт по своему времени.

Мастер вышел к прилавку, вытирая пальцы о холщовый фартук. Лет шестидесяти пяти, сухой, с узкими плечами и большой головой, в которой как будто помещалось больше, чем в

плечах. На лбу у него сидела лупа на резинке, сдвинутая кверху, и от этого казалось, что у мастера три глаза и третий отдыхает.

— Слушаю вас.

— Отстают. – Андрей положил на прилавок часы, которые носил в кармане, отдельно от своих наручных, исправных. – На четыре минуты в сутки. Иногда на три.

Мастер не взял их сразу. Сначала он оглядел ремешок, перешитый столько раз, что от первоначальной кожи остались одни воспоминания, потом трещину, наискось пересекавшую стекло. Затем опустил лупу на глаз, поддел ногтем заднюю крышку и открыл её.

Андрей ни разу не открывал эту крышку. Ему не приходило в голову, что под ней может быть что-то, кроме механизма.

На внутренней стороне крышки, среди бледных царапин, оставленных прежними мастерами, была одна свежая, аккуратная, процарапанная тонкой иглой: «Р. 7·53».

Мастер снял лупу. Лицо у него стало серым, как зола на ступеньках.

— Откуда у вас эти часы?

— Достались.

— От кого?

— От человека, который приносил их сюда седьмого июля.

Мастер положил ладонь на прилавок, словно проверял, на месте ли он.

— Он жив?

— Нет. Его застрелили десятого июля. Он закрыл собой другого.

Тиканье заполнило паузу. Андрей заставил себя молчать. На допросах сорок четвёртого года Коржев учил его – не словами, примером, – что после тяжёлого известия человеку нужно дать время самому выбрать, с чего начать.

— Вот здесь он устроился. – Мастер показал на табурет у прилавка. – Просил почистить. Стекло менять не дал: «трещина своя, родная». Я подивился. Часы, как я понял, сделаны в Германии в начале тридцатых, а ремешок на них такой, будто носили лет пятьдесят. Сорок минут сидел. Спрашивал не про часы.

— А про что?

— Про то, что здесь было раньше.

Он взглянул поверх головы Андрея на окно, за которым серел двор, и Андрей понял, что «раньше» для мастера – это не дореволюционная Москва и не нэп.

— Вы ему рассказали?

— Нет. – Мастер закрыл крышку часов и подвинул их обратно. – И вам не скажу. Мне шестьдесят шесть лет. Я этот двор знаю с тех пор, как его мостили. И я не первый год вижу, как сюда приходят спрашивать.

— Кто ещё?

Мастер ответил не сразу. Он достал из-под прилавка толстую книгу в клеёнчатой обложке, конторскую, с красной линейкой на полях, полистал её и развернул к Андрею.

«12 января 1949 г. Романов Г. М. Часы карманные „Павел Буре“, серебро. Чистка, смазка. Выдано 14.01».

Ниже, через страницу, почти то же самое: январь пятидесятого. Январь пятьдесят первого. Январь каждого года, всегда около двенадцатого числа, всегда «Павел Буре», всегда чистка. Последняя запись – двенадцатое января пятьдесят третьего.

А в июльской части книги, тем же круглым почерком:

«7 июля 1953 г. Матвеев И. П. Часы наручные, трофейные. Чистка. Стекло не менять – просьба владельца».

— Этот, – мастер положил сухой палец на первую строчку, – приходит каждый год. Часы у него в порядке. Ему не чистка нужна. Ему нужно посмотреть, жив ли я и не болтаю ли. – Говоря

это, мастер на секунду скосил глаза в угол, на высокие напольные часы с остановившимся маятником, и тут же отвёл их. Потом закрыл книгу. – Через восемь дней будет двенадцатое.

Он отодвинул книгу и снова взял часы, словно разговор о них был безопаснее.

— Оставьте до пятницы. Почищу, отрегулирую. Будут идти секунда в секунду.

— Нет.

— Они же у вас врут.

— Ещё как, – согласился Андрей. – Но я знаю, на сколько. Если они начнут идти правильно, я перестану понимать, который час.

Мастер хмыкнул, и на секунду в его лице проступило что-то похожее на профессиональное уважение: так, наверное, хирург смотрит на больного, который отказывается от операции по разумной причине.

II

Москва. 4 января 1954 года, понедельник.

Белкину Андрей позвонил из автомата на углу Гоголевского бульвара. Автомат проглотил пятнадцать копеек, подумал и соединил только со второго раза, будто проверял, достаточно ли Андрей настойчив.

Белкин выслушал, не перебивая. Андрей рассказал всё по порядку: часы, царапина, книга заказов, «Павел Буре» каждое двенадцатое января. И то, что мастер назвал себя только по просьбе: Рогов Тихон Ильич.

— Вы ему представились? – спросил Белкин.

— Нет.

— Хорошо. Вы говорили с ним как заказчик?

— Как человек, у которого эти часы.

— Это хуже, – сказал Белкин. – Но выбора у вас не было. Сейчас вы пойдёте на службу, как положено, и будете заниматься участками. Я поговорю с Тарасовым. Письмо в милицию об осмотре мастерской он подпишет только после беседы с курьером: у него в одиннадцать курьер, в два совещание, а без бумаги я к мастеру не пойду.

— Семён Аркадьевич, он боится. Сегодня он показал книгу, завтра может передумать.

— Знаю. – В трубке зашуршала бумага. – Поэтому вечером, после пяти, я зайду к нему сам. Без предписания, как частное лицо, которое интересуется ремонтом часов. Попрошу выписку. Если он её подпишет – у нас будет бумага. А саму книгу брать без бумаги не стану. Изъятие, сделанное в неположенном порядке, Андрей Сергеевич, потом рассыпается в первом же кабинете, где его станут читать.

Андрей хотел сказать, что за восемь часов может случиться что угодно, но в автомат уже стучала монетой женщина в пуховом платке. Он повесил трубку.

На службе его ждали карты. Зоя Воронцова, не спросив, где он был, сообщила, что в буфете с утра записывали на оренбургские платки и что записались все, кроме мужчин и её самой: пух колется, а она не обязана страдать ради моды. Затем положила перед ним сводку по Кустанаю: отопление в помещении будущей мастерской проверили. Акт пришёл телеграфом в субботу вечером, когда группа уже разошлась; дежурил Костин, он и дозвонился Рудневу на дачу, и в воскресенье утром Руднев по телефону разрешил отгрузку. Машины ушли третьего. Андрей прочитал, расписался в получении и полчаса добросовестно сверял высоты участков с прошлогодними промерами. Цифры не лезли в голову. Вместо них в голову лезло двенадцатое января.

В половине двенадцатого он вышел в коридор. С курьером беседовал Тарасов, двумя этажами ниже, и туда Андрею было нельзя. Он ждал у окна на лестничной площадке и разглядывал двор учреждения, где шофёры курили у машин, хлопая себя рукавицами по бокам.

Павлова поднялась по лестнице в начале первого. С ней была дочь курьера, худенькая, в пальто с чужого плеча, с учебником под мышкой: у неё в тот день был зачёт, и она пришла с

отцом прямо из института. Павлова сопровождала её по своей линии, как в декабре. Увидев Андрея, она остановилась.

— Вам здесь стоять не положено, – предупредила она негромко.

— Это лестница, а не кабинет.

— Тоже не положено. – Но не ушла. Девушка, не глядя ни на кого, прошла дальше по коридору к скамье у стены и села, положив учебник на колени. Павлова проводила её взглядом. – Он отказался.

— От чего?

— От всего, что говорил в декабре. Кому выдавал пакет, не помнит. Подписи не узнаёт. Говорит, тогда, в декабре, ошибся: годы, память, нервы. Тарасов три раза спросил одно и то же разными словами. Он три раза ответил одинаково.

— А она?

Павлова посмотрела на девушку на скамье.

— Она сказала мне в коридоре одну вещь. Тридцатого к ним приходил человек. Принёс отцу мандарины. Отец их не ест, у него сыпь. Мандарины так и лежат на подоконнике. Она их не трогает. Говорит, боится, что они настоящие.

Андрей не сразу понял, что это значило. Затем дошло: девушка боялась не яда. Она боялась, что гость был обычным, вежливым человеком с обычными мандаринами, – и что после такого визита её отец говорит теперь вот так.

— Как он выглядел?

— Она не видела. Открывал отец. – Павлова поправила папку под мышкой. – Андрей Сергеевич, вы сейчас спросите, можно ли с ней поговорить. Нельзя. Я при ней по линии переселенцев и по линии её заявления об угрозе. Если я вас к ней подпущу, её заявление станет вашим делом, а вашим делом теперь ничего быть не может.

Она называла его по имени-отчеству – здесь, на лестнице, в учреждении. Андрей отметил это без обиды: она была права и сказала это первой, чтобы ему не пришлось говорить самому.

— Я и не собирался.

— По лицу было видно другое, – возразила Павлова.

Она ушла по коридору к скамье, села рядом с девушкой и что-то сказала ей, наклонившись. Девушка кивнула и впервые за всё время подняла голову от учебника.

III

Москва. 4 января 1954 года, понедельник.

Белкин вернулся с Сивцева Вражка в начале восьмого вечера. Андрей ждал его в пустой комнате группы, где уборщица уже дважды предлагала погасить свет и дважды уходила, бормоча, что начальство пошло нервное.

Белкин снял пальто, повесил его на спинку стула и положил на стол лист, исписанный его мелким бухгалтерским почерком. Внизу стояла подпись: «Т. Рогов» – и дата.

— Выписка, – сказал Белкин. – Все записи на фамилию Романова с сорок девятого года по пятьдесят третий, с датами приёма и выдачи. И запись от седьмого июля на фамилию Матвеева. Сверена мной с подлинником построчно. Подписана владельцем книги собственноручно. Книгу он не отдал. Сказал: «Книга мне для работы нужна, а вам нужна бумага. Вот вам бумага». С этим я спорить не стал.

— Он вам обрадовался?

— Как радуются ревизору. – Белкин сел и потёр переносицу. – То есть никак. Сначала сказал, что никакой выписки не даст. Потом спросил, от кого я. Я сказал правду: от тех, кто хочет, чтобы двенадцатого января к нему пришли не одни. Тут он оглядел меня поверх лупы, как испорченный будильник, и сел писать.

Андрей взял выписку. Строчки шли ровно, одна под другой, и в каждой январской стояло одно и то же: «Романов Г. М.». Пять лет подряд человек носил исправные часы к мастеру,

который знал о тридцать восьмом годе больше, чем следовало. Носил, как ставят галочку в ведомости: проверено, на месте, молчит.

— В этом году оно приходится на вторник, – сказал Андрей. – Через восемь дней.

— Я тоже посчитал. – Белкин постучал пальцем по выписке. – Завтра утром у меня будет письмо Тарасова в районное отделение милиции. Он его подписал в шесть, после совещания. В десять участковый с понятыми осмотрит мастерскую, составит протокол и изымет книгу под опись, а я буду при этом как представитель проверки. Всё как положено. С такой бумагой книгу никто не оспорит.

— А если сегодня ночью…

— Если к мастеру кто-то придёт до утра, выписка у нас уже есть. – Белкин сложил очки. – Я понимаю, что вам это кажется промедлением. Мне тоже. Но я двадцать лет ревизовал кладовые, Андрей Сергеевич, и одно правило знаю твёрдо: недостачу, найденную в темноте без понятых, утром объявляют подлогом ревизора.

Андрей не стал спорить. Белкин был прав по-своему, а Андрей не имел права быть правым ни по-какому.

Домой он шёл пешком. Мороз к ночи окреп, снег под ногами скрипел так громко, что казалось, кто-то идёт следом и не попадает в шаг. Дважды Андрей оборачивался. Оба раза позади была пустая улица, фонарь и чья-то собака, которая тоже обернулась.

У Анны Фёдоровны на кухне горел свет. Хозяйка чистила картошку и над газетой одновременно, и газета, судя по всему, проигрывала.

— Вы мне скажите, – встретила она его, не поднимая головы, – кто этот Маленков, что опять снижение цен обещает? Обещает, обещает, а сахар как был, так и есть.

— Он председатель Совета Министров, Анна Фёдоровна.

— Это я и без вас знаю. Я спрашиваю, какой он человек.

— Обещательный, – сказал Андрей.

Анна Фёдоровна подумала и одобрила: слово ей понравилось.

Он ушёл к себе, достал омскую тетрадь и раскрыл её на чистой странице. Седьмого июля, утром, на этой улице, на табурете у прилавка, сидел старик и сорок минут спрашивал о том, что здесь было раньше. А вечером того же дня, когда старик поднимался по лестнице к Рябову в дом у Арбатских ворот, Андрей стоял посреди переулка в двухстах шагах от него и слушал, как нарастает в ушах звон. Повернул назад. Ушёл к метро.

Старику этот двор был известен. Известен, наверное, давно – за восемьдесят два года можно узнать многое, если искать. Знал и не сказал. Или собирался сказать – в письме, которое Бережной вскрыл в декабре: «Всё началось с моей собственной ошибки. Я расскажу об этом, если успею». Не успел.

Есть в человеческой жизни такое странное свойство: чем ближе подходишь к ответу, тем отчётливее видишь, сколько раз проходил мимо. Андрей полгода считал, что седьмого июля потерял Тимура. Выходило, что в тот день он потерял ещё и старика – за три дня до того, как потерял его по-настоящему. Если бы он сделал тогда двести шагов вперёд, их бы не стало. Звон, кровь из носа, сердце – законы, по которым двоим одного человека нельзя сходиться, не спрашивали, какой из двух шагов важнее. Он сделал единственное, что было можно. И всё равно чувствовал себя человеком, который не открыл дверь, когда в неё стучали.

Он записал в тетрадь: «Рогов Т. И. Романов – каждое 12 января. 7.07 – старик спрашивал о том, что было раньше». И ниже, после паузы: «Он знал этот двор».

Часы Лучко лежали на столе крышкой вверх. Андрей открыл её и долго разглядывал свежую царапину «Р. 7·53» среди старых. На этой крышке лежали все годы часов сразу: немецкий завод, Лучко, сорок четвёртый год, Новосибирск, старик, мастер, он сам. Царапины не знали, в каком порядке их сделали. Он закрыл крышку.

IV

Москва. 5 января 1954 года, вторник.

Белкин позвонил в одиннадцатом часу. Голос у него был ровный, слишком ровный, и Андрей понял всё раньше, чем услышал.

— Мастерская заперта. На воротах новая картонка: «Закрыто. Уехал к сестре». Мастера нет. Дворничиха говорит, ночью приезжала машина.

— Его увезли?

— Она не знает. Говорит, темно было, а она не сова. Машина постояла минут десять у ворот. Хлопнула дверь, может быть, две. Уехала. – В трубке зашелестело: Белкин листал свои записи. – По письму Тарасова милиция вызвала домоуправа и вскрыла флигель при понятых. Я был при этом. Всё на месте. Часы на полках идут. Книга заказов лежит на прилавке.

— Но?

— Но из неё вырезаны листы. Аккуратно, бритвой, у самого корешка. Все январские листы с сорок девятого года по пятьдесят третий. И один июльский. Остальное не тронуто.

Андрей держал трубку в коридоре учреждения, и мимо него шла обычная служебная жизнь: кто-то нёс чайник, кто-то бумаги, две машинистки обсуждали, где достать фильдеперсовые чулки. Перед ним была крашеная стена. На стене, на уровне глаз, кто-то когда-то записал карандашом телефонный номер и потом пытался его стереть.

— Выписка, – сказал он.

— Лежит у меня под стеклом на столе, – подтвердил Белкин. – Самое надёжное место: все думают, что это расписание. И стоит теперь дороже книги. Тот, кто резал, не ведал, что я был там вчера вечером. Или ведал и решил, что подпись мастера на этой бумаге ничего не стоит без самого мастера. Это мы ещё посмотрим.

— Семён Аркадьевич, это я их привёл.

— Не спешите.

— Первого января я был у этих ворот. Вчера утром пришёл снова. Если за мной ходят – а за мной ходили в декабре, вы сами видели сводку, – то я им показал дорогу дважды.

В трубке было тихо. Затем Белкин сказал:

— Дворничиха вспомнила ещё одно. В праздник с утра у калитки топтался молодой человек, разглядывал картонку. Это вы. А через полчаса после вас там же торчал другой. Немолодой, в сером, прихрамывал на левую ногу. Тоже читал картонку. Она запомнила, потому что подумала: что ж такое, праздник, а все к часовщику.

Андрей закрыл глаза. Серое пальто, левая нога. Декабрьские карточки Белкина, которые он видел, пока его ещё пускали в кабинеты: одна операция, одна автобаза, человек в сером пальто, хромает на левую ногу.

— Выходит, я.

— Вы и я, – сказал Белкин. – Я решил ждать предписания. Вы пришли без него. Если бы я пошёл вчера утром, с вами, книгу бы изъяли целой. Если бы вы не пошли вовсе, мы бы не знали, что её нужно изымать. Делите, как хотите. Я своё уже взял.

Он повесил трубку первым. Андрей вернулся в комнату группы и сел за карты. Зоя, не поднимая головы, подвинула к нему стакан чая в подстаканнике: свой, нетронутый, с двумя кусками сахара на блюдце. Ничего не спросила. В учреждении, где новости передавались расстоянием, это был самый короткий путь, каким один человек мог сказать другому, что стоит рядом.

V

Москва. 5 января 1954 года, вторник.

К вечеру Андрей не выдержал и после службы пошёл на Сивцев Вражек.

Он понимал, что делает глупость. За ним ходили, и, скорее всего, ходят до сих пор, и каждый его шаг к воротам – подарок тому, кто ходит. Но после службы он был частным лицом,

а частному лицу не запрещено пройти по улице. Белкин сказал бы, что именно так рассуждает каждый, кто потом пишет объяснительную.

Ворота были открыты. Во дворе дворничиха, широкая женщина в ватнике поверх халата, скалывала лёд у водосточной трубы. Увидев Андрея, она опустила лом и узнала его сразу.

— Опять вы. Нету его. Утром ваши были, с бумагой. Всё описали, опечатали.

— Я знаю. Я про картонку хотел спросить.

— Это про какую же?

— На воротах. «Уехал к сестре».

Дворничиха вытерла нос рукавицей и посмотрела на него, как смотрят на человека, который пришёл спрашивать про картонку, когда пропал живой человек.

— Висит, – сказала она. – Чего про неё спрашивать.

Андрей вышел к воротам. Под стеклом, рядом со старой пожелтевшей картонкой «Ремонт часов», белела новая, вырезанная, видно, из коробки от папирос. «Закрыто. Уехал к сестре». Чернильный карандаш, торопливые буквы. Он разглядывал её и не мог понять, что его останавливает.

Наконец понял. «Уехал» начиналось с обычной прописной «У», какую выводит любой, кто учился грамоте после двадцатого года. Буквы стояли прямо, без наклона. Мягкий знак был просто мягким знаком.

На старой картонке, рядом, та же рука писала когда-то «Вход со двора» – с петлёй под «В», с наклоном чуть больше, чем требуют прописи, с мягким знаком, похожим на маленькую восьмёрку. Старый мастер не мог разучиться за одну ночь. Шестьдесят шесть лет держит человек в пальцах одно и то же движение, и это движение остаётся с ним, даже когда у него трясутся руки.

— Скажите, – Андрей обернулся к дворничихе, – вы видели, кто повесил новую картонку?

— Утром уже висела. – Она пожала плечами и снова взялась за лом. – Сам, кто ж ещё. Кому она нужна, кроме него.

— Сестра у него где-то на Волге, – добавила дворничиха не оборачиваясь. – Каждое лето к ней ездил, привозил воблу. Мне тоже давал. А кота его теперь кормлю я. – Она мотнула головой в сторону крыльца, где на золе сидел толстый рыжий кот и не сводил глаз с двери флигеля. – Кот не виноват.

Андрей не ответил. Над флигелем по-прежнему торчала жестяная труба, и в сумерках из неё по-прежнему не шёл дым. За окном, опечатанным полоской бумаги, тикали на полках часы, которые ждали хозяев, каждый по своему времени. Завтра к утру большая часть из них остановится: заводить их было некому.

Почерк на новой картонке был чужой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.